

Добрый рыцарь совести и слова

ПРЕДИСЛОВИЕ

14 августа В.Ф. Потанину исполнилось 75 лет, и журнал «Сибирь» сердечно поздравляет замечательного мастера русского слова и желает Виктору Федоровичу радости на многая и благая лета!

Давным-давно, очень скоро можно будет сказать, что было это в прошлом тысячелетии, познакомились мы с Виктором Потаниным. Как большинство

молодых писателей-провинциалов, честолюбиво точивших свои крылья на большой полет, познакомились в Москве. Виктор Потанин учился тогда на литературных курсах, и постоем его было общежитие Литературного института, а мы, иркутяне, приезжая в первопрестольную, вповалку ночевали на полу в комнате того же общежития у Александра Вампилова, нашего земляка. Там мы и встретились, в месте, где вообще-то серьезные писатели не встречаются, — в кухне, большой и голостенной, в ней не держались даже запахи пищи. Виктор Федорович, которому было, как и мне, под тридцать, кашеварил, когда я пришел туда с чайником. И мы сразу разговорились. Страна наших имен, разумеется, не знала, но мы имена друг друга знали: только что прошли два громких совещания молодых сибирских писателей, в Чите и Кемерове, на одном из них был я, на другом Виктор Потанин, и первые наши рассказы в общем сборнике под названием «Молодые мы» были опубликованы в Москве.

С той самой что ни на есть прозаической встречи в обширпанной студенческой кухне, памятной нам, стоящей торжественной обстановки в самых великолепных залах, которые удалось видывать позже, мы и дружим. Вместе с Виктором Лихоносовым, Василием Беловым и Владимиром Крупинным. Зная друг о друге все, — и по совместным поездкам то в Карелию и Новгород, то в Орел, то на Байкал, то еще куда-нибудь, и устным рассказам о себе и своей жизни, где нам нечего было скрывать, и по тем рассказам, где и скрыть ничего невозможно, зовущимся литературой. Благодаря ей, матушке литературе, мучительнице нашей и спасительнице, нам ведомо друг о друге такое, чего люди обычно не достигают при близких отношениях, чего и достигать было бы опасно, окажись у нас омутные припрятаны. Кому, как не нам, знать, что ни один герой без части автора появиться не может, что автор сосуществует абсолютно во всем, что есть в книге, в том числе в таких, казалось бы, абстрактных и вспомогательных картинах, как закат солнца или игра ветра с опавшими осенними листьями. Виктор Потанин напишет эту игру совсем по-другому, чем я или Владимир Крупин, мы безошибочно узнаем его ветер и его листья, мы увидим даже, с каким выражением лица писал он эту картину, как он «оглаживал» ветер, чтобы не дать ему быть грубым. Он вообще не признает грубости ни в общении, ни на страницах своих работ, ни в помыслах, это редчайшая по благорасположенности ко всему, ко всему, что есть на свете, природы, про которые говорят, что они не от мира сего. Это не значит, конечно, что Потанин-писатель избегает зла, переполнившего сейчас жизнь, и ищет укромные уголки, где можно было бы его миновать. Вовсе нет. Но он не может принять зло как неизбежность, не может согласиться с его агрессивным полноправием, и любые проявления зла заносит на бумагу с очевидным страданием, с мучительным недоумением: да как же это может быть? Вот так писалась, я чувствую, повесть «Доченька» — на пределе сил, с содроганием перед реальностью, заступающей едва не за каждый порог, с невольной и сокрушающей виной за нравственный вызов, бросаемый сейчас не столько даже младшим поколением старшему, сколько исходящий от как-то быстро народившейся чуждости. Народившейся и в младших, и в старших. И это большое сердце не героя, а автора содрогнулось: «Что будет со мной завтра? А послезавтра? А через год? Неужели я проживу еще год?»

Мы переписываемся нечасто, но самую полную, самую подробную весть о себе мой друг подает всякий раз, когда я читаю его новые работы. Я всерьез встревожился за него после «Доченьки», но успокоился и порадовался после «Легкой».

Господи, какую же светлую, какую же доброжелательную и нежную надо иметь душу, насколько пропитать свой талант любовью к человеку, чтобы сложить из одного только бескорыстия и жертвенного служения людям Антонину Ивановну, жену, мать, работницу, в каждой из этих трех ипостасей показавшей какое-то дивное торжество совести. Антонина Ивановна из тех праведниц, без которых не стоит «ни село, ни город, ни вся земля наша». Из тех, которые живут чем-то нечто большим, чем обыкновенная жизнь, не поднимающаяся из повседневности, и оставляют о себе нечто большее, чем воспоминания, — они точно приходят и уходят как вечная непорушимая нравственная мера человека. Когда удается такой образ — сантиметр в сантиметр с тем, что только можно ожидать высшего и чуткого от обыкновенного, казалось бы, не вполне развившегося человека с угловатой и не совсем удавшейся жизнью, как у Антонины Ивановны, — это большая, очень большая удача художника. Это большой дар — в обыкновенном найти высшее, в естественном, самородном — мудрость и доброту в их точном и соразмерном выражении.

Что поделаешь, грубость жизни проникает и во многие писательские сердца, защититься от торжествующего ныне зла чрезвычайно трудно. Да и надо ли уходить от него, не лучше ли подставить себя, как всегда, под ту суровую правду, которая, по пословице, весь мир перетянет. Под правду пусть и жестокую, но необходимую, излечивающую или отсекающую пораженные участки наших душ и сердец. Я, к примеру, знал всегда, что другой позиции у писателя, кроме как следовать правде и идти по ее спасительному пути, нет и быть не может. Однако сегодняшние смысловые перемены всего и вся не оставили в покое и ее, нашу главную творческую опору. Есть Правда и правда — с большой буквы и с маленькой. Они, в сущности, всегда были разделены как высшее и низшее, но имели единый понятийный ствол. Сейчас и корни у них разные. Правда как одна из сегодняшних страшных реальностей заключается в том, что сотни, тысячи молодых женщин после родов пеленают младенцев в плотные пелены и опускают в мусорные баки. Эта правда, заставляющая нас цепенеть при встрече с нею, продолжается в том, что сотни и тысячи малолетних зверенышей, точно распеленавшихся и выбравшихся из мусорных баков, перебравшихся в подземные теплотрассы и выглядывающих из люков, перед тем как выбраться на охоту за куском хлеба, смотрят на нас глазами иного, уже нездешнего выражения. Сама жизнь принимает сегодня иное выражение — более жестокое, растерянное и вызывающее. Внутреннее, глубинное переходит в поверхностное, духовное переходит в физическое, слова теряют красоту и смысл. Новая литература быстро освоила эти перемены и отыскала в читателе не эстетические, как прежде, а физические, животные центры удовольствий. На них она и жмет. «Правда жизни», легко отысканная под ногами, оказалась в услужении у невысоких запросов потребителя.

От «тьмы низких истин» никуда не деться. Однако так их развелось много и такой плотной чащей они окружили человека, что он может и не видеть просвета и не чаять другого воздуха для дыхания. Ему может показаться, что для вселенских сумерек, наступивших без конца и без края, срочно нужна новая адаптация, которая бы позволила чувствовать себя в них уверенно. Но, если задуматься, все, что обессиливает, угнетает, обезволивает человека, не может быть ни правдой литературы, ни правдой жизни. Это продукты распада жизни. Главная правда сейчас — Надежда. И берется она не из обманчивых видений и не

из туманных воспоминаний, а — видится без труда глазами, в которых зрачок сохранил способность соединять в целое разрозненные картины. Ни добрую душу, ни совесть, ни милосердие и сострадание, ни тяготение к чистому и честному, ни тем более дар восприятия всего этого младшими от старших — отменить нельзя. На них мир стоит, и других оснований дня него придумать невозможно.

Точно так же нелепо было бы предполагать, что литературу, как и всю культуру, все искусство, можно установить на безнравственности.

Время от времени человеком, как в лихорадке, овладевает горячее беспокойство, моральные правила кажутся ему устаревшими, неудобными, стесняющими движения, он рвется на свободу, с шумом и восторгом вырывается, объявляя о торжестве здравого смысла, и, не теряя лихорадочного возбуждения, отдается безудержному ново-«нравственному» чревоугодию. Нечто подобное произошло и на этот раз. На этот раз — с претензией на окончательную победу: показалось, что сама цивилизация, по-мефистофельски потребовавшая у человека душу за некоторые хитроумные услуги материального характера, подвела к этому итогу. Быть может, когда-нибудь, если человек не решится порвать это дьявольское соглашение, так и случится, но не теперь, не теперь. После десяти лет искусительной свободы, буйным ураганом прошедшей по России из конца в конец и из края в край, даже самым бесноватым из заблуждавшихся, независимо от того, признаются они в своем прозрении или нет, приходит сейчас понимание (к врагам не придет), что не ту они вызвали силу, не оттуда, не затем, что свершилось. Свобода — как неисполнение гражданских и личностных обязанностей, как переворотный механизм отеческого бытия, как стихия вседозволенности, — такая свобода убивает и человека, и государство. В очередной раз стало очевидным, что без духовного и нравственного — смерти подобно. «Вначале было Слово. И Слово было Бог». Подножье в небо не задерешь, и небо под ноги не опустишь.

И литературу не переиначить, в любой современности и при любом новаторстве она или есть в своем собственном ценностном виде, или ее нет. То вызывающее, безжизненное, наркотическое, агрессивное, имеющее вид циничного интеллигентика с усмешкой, что все это десятилетие выдавало себя за литературу и постарается еще какие-то сроки выдавать и впредь — есть просто болезненное и дурное состояние духа бунтующих. Бушующих по своей ущемленности и неполноценности, пытающихся свою недостаточность поставить впереди полноты и здоровья. Но подмену свершить не удалось. Литература во все эти смутные годы не переставала талантливо и уверенно исполнять свое главное назначение — любить человека и сострадать ему, а лихолетье заставило ее любить человека и сострадать ему еще больше.

Среди самых верных ей работников, у кого и мысли не могло возникнуть устроить из своей богоданной профессии бизнес, остался и Виктор Потанин. Книга сия служит тому доказательством. Остался при своем возвышенном и добром таланте, ни в одном качестве не уронившим звание мастера, материалом для работы которому являются русский язык и русская душа.

Мы с ним оба в преклонных летах. Волей-неволей, хотя, быть может, преждевременно, приходится думать, как всем в нашем возрасте, что оставим мы после себя... Оставим, конечно, книги. Оставим детей. Но еще оставим и дружбу нашу, которая своей бескорыстностью, мягкостью и искренностью не может не иметь земного следа — из тех, что уводят от бескормных мест.

Валентин Распутин

Говорят, к сорока годам в человеке что-то стихает и успокаивается, и все чувства, желания входят в свои берега. А если разобраться, то много ли сорок лет? Просто жизнь так коротка, быстротечна, что надо ловить свое счастье, пока еще можно, пока в тебе бродит горячая кровь. А если она уже не горячая, если все прошло, миновало, — и вот уж рядом печальный закат... Об этом и еще о чем-то длинном, тяжелом думал школьный учитель Валерий Сергеевич и молча курил. Сигарета не успокаивала, да и мешала девочка. Она сидела напротив и смотрела в окно. Глаза были сухие, настойчивые, таили обиду.

— Пойдемте к маме... В последний раз. — Он вздрогнул от ее голоса и распахнул створку. В комнату залетел легкий воздух. Запахло мокрой зеленью, огурцами. Учитель вздохнул глубоко и нахмурился. Потом вспомнил девочку.

— Нина, чего тебе?

— Пойдемте к маме! Я боюсь одна на могилу...

Он поежился точно от холода, закурил. Струйка дыма казалась голубенькой посреди большой комнаты. Таким же голубым и веселым переливался хрусталь, запертый в гладком дубовом серванте, даже ковры на полу и по стенам тоже оделись в голубое, зеленое — это солнце потревожило их. А учителью снова грустно. И снова в глазах родилось больное и темное, и чем сильнее вглядывался в эту девочку, тем больше делалось этого темного, — и он опять сползал, погружался в свою тяжелую думу.

— Пойдемте?! — требует девочка.

— Ну хорошо.

Он снова курит, вздыхает, а девочка хмурится, молча ждет у двери.

На улице солнечно и свежо. Ветерок какой-то обволакивающий. Он залетает под воротник, под рубашку и скользит, трогает тело, словно бы сам живой. «Эх, какой воздух!» — не может сдержаться учитель и поднимает высоко голову. В такой день хорошо оседлать машину и лететь в дальние леса, перелески, где шевелятся, поскрипывают под листьями белые грибы и синявки, где все дышит тишиной и покоем, и усыпляет, укачивает этот покой. Девочка идет рядом, смотрит под ноги.

Он выбрал самый дальний, окольный путь. Вот уже кончилась улица, и обступили поля. Но учитель свернул направо, в березы. Там, глубоко в лесу, был школьный трудовой лагерь. Там жил его сын — пятиклассник Сергей. Он любил приходить к нему неожиданно, да и сын всегда ждал. Вот и сейчас он решил повидаться. Нина чувствует его хитрость и как-то покорно стихает. Глаза сощурены и смотрят вперед.

Из-за берез показалось солнце, оно повисло так неожиданно, что он вздрогнул. Лучи были прямые и жаркие — опять возвращался зной. От земли, от листьев, от старых сучьев поднимался пар и пропадал в вышине. Влага, пролитая за ночь на эти травы, березы, опять уходила туда, откуда пришла. Девочка кашлянула, призывая к себе.

— Я уеду, а кто мне напишет?

— Я напишу. И мой Сережа напишет. Ты ведь дружишь с Сережей. Вот и пишете...

— А еще?

— Кто-нибудь...

Она обиженно замолчала. Сандалии неслышно опускались в песок, и она точно не шла, а подкрадывалась, и этот легкий шаг его мучил, потому что кого-то напоминал. «Ну конечно, ходит как мать...» — вдруг подумал Валерий Сергеевич, и сразу жалость пронзила. Ведь Нина же теперь сирота, совсем круглая сирота.

— Тебе будет хорошо в детском доме! Да и город большой, театры... Я бы сам пожил в городе.

— Какие театры, — прервала девочка и улыбнулась. Улыбка была тихая: она снова хотела заплакать или в чем-то признаться, и нерешительность эта, видно, томила, мешала дыханию.

— Извините, я перебила.

— Ничего, Нина, ничего...

— Я попрошу...

— Говори, говори, — подбодрил он, а у самого все замерло, затаилось: «Чего опять выдумала, клонит к чему?»

— Я потом... — Она замолчала. Учитель обрадовался молчанию и спокойно курил. «Какое тяжелое вышло лето, да кто поможет — никто. Вот уж целый месяц ни тетрадей, ни школы, а все нет желанного отдыха. Да и жена далеко, в Черкассы уехала. Хотела недельку погостить у родителей. Но разве обойдешься неделькой? А была бы рядом — все же горе полегче. Но откуда, за что это горе? За что же?!» — вопрошал он кого-то и нервно покашливал. Березы не шевелились. Дышалось трудно, точно перед грозой.

— Вы завтра меня повезете?

— Завтра, Нина, не беспокойся.

— Я так... Все равно...

Она шла теперь как молчаливое осуждение, да и лицо ее было сухое, серьезное, без кровинки лицо. Иногда посматривала на небо, точно бы ждала грозу, непогоду, и заранее боялась грозы. А в небе уже шли облака. Они родились внезапно. Из ничего. И медленно потекли над лесом.

Девочка опять подняла глаза, и он усмехнулся.

— Чего там увидела? Запнешься! — Он попробовал пошутить и отвлечь ее, но голос вышел мрачный, глухой.

— Не запнусь! — так же мрачно ответила и еще внимательней засмотрела вверх.

Облака были странные: одни белые, другие темные, иногда два облака сливались в одно, и тогда цвет выходил какой-то серый, белесый, но все равно в этом облаке уже слышался дождь. «Хорошо, что дождь снова, значит, трава подрастет — и покосим...», — подумал с облегчением Валерий Сергеевич и усмехнулся сам над собой. За годы жизни в деревне он стал совсем деревенским. Вот и сейчас он подумал вдруг о своей корове, об овцах, которым надо поставить сена, а в засуху разве поставишь? Зато после дождика любая травка пойдет, зарезвится. Может, и разрешат покосить по лесам. Девочка кашлянула, поправила волосы.

— Ну что, запнулась? — опять попробовал пошутить он, но та не поняла шуток, не поддержала.

— Я легкая, не запнусь...

— Легкая. — В голосе — новая досада и боль.

— Легкая, легкая. — Он не заметил, что говорит вслух. И уж совсем не заметил, как опять ее вспомнил. «Как они похожи все-таки — мать и дочь! И походкой, и голосом... Ну и что из того — пусть похожи». Но все равно уже мысли эти

стали опутывать, обволакивать, и не было сил от них отмахнуться, избавиться, да и зачем. И он совсем сдался на милость им, но все равно, чтоб отвлечься, рассеяться, стал считать деревья. Думал — дойдет, досчитает до ста — и полегчает, исчезнет боль, но вот уже до ста дошел, вот уж больше, а все так же ныла, болела душа. И он совсем, совсем покорился, стал думать о давнем, о прошлом. Но в этом прошлом опять поднялась она, а с ней и сам он в свои двадцать лет. Нет, не в двадцать уже, в двадцать семь. Институт он закончил поздно, невовремя. Да и какая радость парню в педагогическом? Теперь бы не пошел ни за что, а тогда вернулся из армии и сразу — бух, как с обрыва, одно утешенье — институт в родном городе, а он любил городскую жизнь. И вот он — уже учитель. Сельский учитель. Как это трудно для него, непривычно, но что поделаешь — судьба... Зато повезло в малом — с квартирой, с хозяйкой. Вот она стоит перед ним, Антонина Ивановна, улыбочку на лице сделала, без причины состроила, зато в глазах — одна доброта. Потом привык и к словам, и к улыбочке, как-то сразу привык и доверился. А чего копать в человеке, раздумывать, если тот сердцем — к тебе.

— Ты Тоней зови меня или Тонечкой. Не остарела пока, поди, в сестры гожусь?

— Кому в сестры?

— На тебя потихоньку натряхиваюсь, а ты уж напужался, поморговал. А я ведь постаре-то немного, каких-нибудь десять лет.

— Сколько вам, Антонина Ивановна? — спросил он уже веселым голосом, ему стало очень легко.

— Кто ж у бабы про года спрашивает? Я совру, ты поверишь. А ты Тоней зови, называй. И чтоб без всяких там хвостиков, без чинов. Ты ведь можешь еще и посватать меня! Видишь, кака баска да молодинька, — сама засмеялась громко и весело. И вдруг что-то вспомнила, повернула лицо. — А ты не сердися, не сердись.

— Я ничего.

— Ну вот, хорошо, все правильно. Не всем быть молодым да красивеньким, а некрасивых куда? Чё, в чулан на замок? — Она засмеялась опять, но быстро сникла и опустила голову.

— Я в войну ведь так выхудала, а после и не поправилась. Видно, сжались тогда мои косточки от хорошей, сладкой еды... Ну чё замолчал, Валерей, Валерей... Ага, Сергеевич? Ты прямо у нас молодой да подсаистой, ну прямо офицер какой, капитан.

— Я не офицер...

Но она уже не слушала, прервала его, увлеклась. И слова как горох:

— У меня муж тоже был офицерик. Такой бравой да сухонькой, руки в бок, шагом арш. — Она опять засмеялась, потом смутилась, нахмурилась. — Ну ладно, смешно тебе, смешно, вижу. А ты, значит, хорошей, серьезной... И коровки, поди, нет у тебя? А в деревне как без коровки? Ну ничево. Не страдай, не тушуйся, молока принесу — хоть запейся, а живи давай поотдельно. Комнатка-то твоя бокова, есть друга дверь из сенок, ход-то будет другой. А то люди наврут на нас, обессудят... — она покраснела, засуетилась, — да, поди, чего на меня, ничего. — Всё это она враз выпалила и не запнулась. И пока говорила — прямо в глаза смотрела и не мигала. А на улице было ярко и солнечно — и от слов ее, от настойчивости, от белой веселенькой комнаты, где сидели они, от самой летней деревни и раскидистой зелени, от теплого чистого воздуха, от всей теперешней жизни, такой новой и неустроенной, ему стало вдруг так хорошо, так радостно, что он любил уже всех, обнимал всех глазами: и хозяйку свою, и деревню, и школу, которую еще не видел, но верил уже, что и там хорошо, и все ждут его — не дождутся.

— И река у вас есть?

— Ты чё! Поди, через мост ехал, на воду плевался?..

— Ехал, Антонина Ивановна!

— Ну вот, дознались, Валерей Сергеевич. — Последние слова она произнесла медленно, с остановкой, потом совсем замолчала, задумалась. Но, видно, трудно было молчать. — Ты чё меня Тоней не называшь? То ли трудно тебе, тяжело? Ничего, будет время — само придет. Я — баба легкая, не сердитая, и имя тако же легкое, тонко-тоненько...

— Магазин где у вас, Антонина?..

— Ну чё ты, чё ты — Тоня, Тоня я! Честно слово, как неродной. Давай деньги, сбегая за покупками, только водки не покупаю. Нет, Сергеевич, нет и нет...

— Что вы, вас затруднять...

— Надо ж, надо ж, каки мы вежливы! «Что вы, что вы, вас затруднять!» — она передразнила его громким веселым голосом, подмигнула и подняла вверх оживленные глаза. — А ты бы по-простому, по-нашему: ну-ко, Тонька, шаг — туда, два — обратно, и без сдачи хватай, без очереди.

— Поди, далеко?

— Ох, сместишь ты, Сергеевич! Я ведь шагом не хожу, все бегом, как по воздуху. Я зарядкой занимаюсь, Сергеевич!

— Неужели?

— Неужели в самом деле, честно слово — не пойму. — Она засмеялась, откинула голову. Видно, весело, что поразила и сбила с ног. А он смотрел, смотрел на нее, приглядывался, и все кружилось в нем, наливалось радостью. Что-то было праздничное в ней, забавное: то ли простоты вдоволь и мало ума, то ли, наоборот, что-то хитрит, заплетает веселое. — Я и колесо делаю. Вертушку кручу! Тебе в армии, наверно, показывали?

— Знаю, знаю, показывали. — Он уже еле сдержался, но смеяться боялся — еще заплачет, обидится, соберется в комок. «Но откуда она? Откуда взялась такая маленькая, веселая, с карими подвижными глазками, с пучком поседевших волосиков, завитых, скрученных в тугой узелок?»

— А ты не жалея Тоньку, приказывай. Я баба веселая, легкая, сухая палка, бараний вес. Я и в городе жила, побывала. Городских сухарей попробовала, ишь чё с их расплылась.

— Долго жили там?

— Долго, долго, Сергеевич. У нас квартира на втором этаже была, так я на третий все пробегала. Разбегусь, бегу да убьюся. Да прямо в дверку чужую стукнуся. Подь ты к черту, корю себя, то ли птичка ты, то ли бабочка семикрыла? Куда летишь, спешишь, поди, никто и не рад.

— Вы с мужем жили?

— С мужем, да. — Она на минуту задумалась. И снова осветилось лицо. — Мой-то из военных был, с золотыми погонами. Капитан, может, даже майор.

— Может, генерал? — Он засмеялся, не вытерпел, но сразу смолк, в руки взял себя.

— Зачем прибавил, Сергеевич? Ты видал генерала-то! Его, поди, не обхватишь по талии, да и росту отмеряно. А мой — кого — такой же легонькой, суховатенькой, от него и научилась гимнастике. По утрам соскочим, оботремся, обмоемся, потом уж на голове стоим.

— Оба стоите?

— А чё нам, Сергеевич! Я вначале — из угождения, потом вижу — на пользу мне. Здоровье-то не купишь у нас. Хочешь, покажу упражнение?

— Потом...

— Закругляюсь, Сергеевич. А то надоели слова да речи, надо и за стол.

А потом, за столом, ему стало опять покойно и весело, как будто приехал к родной матери на каникулы, и кругом — все родное, домашнее, — и оттого тепло и покой. А она все смотрела на него устало и ласково, как будто бы сына видела и желала ему вечной радости, многих лет.

Но Тоней так и не смог называть ее, как-то не получалось. Стеснялся, да и временами она выглядела совсем старой, уставшей, не помогала, видно, гимнастика, а может, просто давила жизнь.

Очень любила ходить по грибы. Правда, редко приходилось с корзинкой — в колхозе время всегда горячее. Работала много — то дояркой, телятницей, то замещала заведующего на ферме, — вставала рано, ложилась поздно, так что какие уж тут грибы. Но все равно выкраивала свободный часок. Лес-то рядом, и ноги свои. Да и любила эти лесные часы. Да и как не любить их, березы...

Валерий Сергеевич вздохнул глубоко, отвернулся. По дороге кто-то ехал на лошади. Лошадь весело фыркала: видно, попадал в ноздри сухой песок. Поравнялась телега, в ней сидела Валентина Корюкина — школьный завхоз. Он не любил эту женщину, избегал. Но сейчас — делать нечего — носом к носу...

— Пошел к сыночку, Сергеич?

— Туда! — он ответил отрывисто и замедлил шаг. Но телега тоже замедлилась, и он с раздражением закурил.

— Все собираюсь к вам да наглаживаюсь, поглядеть ваши ковры, гарнитуры...

Он опять промолчал, только в щеки бросилась бледность. Но она ничего не заметила, лицо веселое, круглое, и руки такие же круглые, толстые, они цепко сдавили кнут.

— На своих ножках нынче. Надоело на «Жигулях»?

— Надоело... — И снова затих разговор. Но ей, видно, не привыкать. Опять веселая:

— Говорят, вы втору коровенку заводите да пустили бычка?

— Ну и что?

— А я хочу к вам в работники! На полставки возьмешь?

— Мне сейчас не до шуток! — И он посмотрел долгим взглядом на девочку, и у завхоза изменилось лицо. Но девочка, казалось, не обращала на них никакого внимания, еще сильнее присмирела, все мысли в себе.

— Худо тебе, Нинка, наступит без мамушки! Ой, худо — не приведи. Да не вернешь...

— Кого? — спросил машинально учитель.

— Не вернешь нашу Антонину Ивановну. Да хоть бы не така смерть... — И Валентина поднесла к глазам носовой платок.

— Тебе-то что плакать, страдать... — оборвал он ее громким сердитым голосом и сразу пожалел, что вспылит. Не хотелось ругаться, еще больше расстраиваться, только хотелось побыстрее от нее отделаться.

— Ты мне не указывай, Валерий Сергеич! Ты мне рот не затыкай белой тряпкой... Я вот правду возьму да выпалю.

— Давай, давай, — он махнул устало рукой, отвернулся. Им овладели апатия, безразличие, видно, сказались усталость последних дней, напряжение, и он закрыл глаза. Когда открыл, то сразу же, в упор увидел печальное лицо девочки и

злые, напористые глаза Валентины. В них было все: злая боль, осуждение и еще большое-большое лукавство. Но все равно он решил отмолчаться, не ввязываться, зато она не молчала:

— Гарнитур-то еще не все в Кургане скупили? Когда-нибудь завалит вас эти доски... Прямо с головой и завалит.

— Какими досками? — он удивленно посмотрел на нее и опять нашел силы сдержаться. Ему хотелось уже совсем забыть про нее, но Валентина не умолкала. Только глаза ее стали проще, добрее. Может, стало стыдно, неловко, что наговорила ему много тяжелого, лишнего, и теперь пробовала пошутить даже, перевести разговор на смешное.

— Ну ладно, Сергеич! Не переживай ты, не обижайся. А то идешь — губу на локоть, а с чего бы? Да плюнь ты на меня, на такую нахальную бабенку! Все плету не свое, не наше, а ты — к сердцу да к сердцу! А то бы размахнулся да ударил меня, поучил по-мужскому. — Она засмеялась и, видно, ждала ответного смеха. Но он даже не улыбнулся.

— Я не хулиган...

— А ты похулигань, Сергеич, тебе можно. Ты — человек большой, образованный, а я — кого: три класса да два коридора. Мне уж с рубля-то не сдать тебе по порядку...

— Не хвастай! — Он еще хотел что-то добавить, но она перебила, не слушала, опять начала тараторить:

— Сколько матушка-покойница приговаривала: учись, Валентина, не моргуй книгами, пригодятся, а я все — зачем, неохота. А та опять: учись, а то затопчут. А я отвечаю ей: я к забору прижмусь. Тогда в забор вдавят, — это мать-то опять страшат. А выходит, что не страшала — жалела...

Пока она говорила, он стал успокаиваться, но все равно раздражение не смолкало в нем, да и надоел ее голос. Он начал покашливать: мол, хватит, поговорили уже, теперь пора помолчать. Валентина заметила это покашливание, истолковала по-своему. А может, хитрила, у нее хватит ума.

— Простудился где-то, не поберегся... А чё же, Сергеич, тебе жалко, поди, Антону? Ох, поди, жалко! Как она болела о тебе, как родного брата держала. И помогала тебе первое время — вся деревня знает, и я знаю... А ты, Нинка, не наводи ухо, не обязательно... — она взглянула на девочку, что-то еще хотела добавить, но только головой покачала. Девочка сразу побледнела и совсем низко склонила лицо.

— Не надо про маму... Я пойду вперед, тогда говорите.

— Зачем, Нина? Иди рядом со мной, — прервал быстро учитель и сразу же закурил. Валентина чему-то обрадовалась, глаза засмотрели вразброд:

— Хорошо сказал! Честно и добросовестно... У нас, Нинка, нету секретов.

— Ладно! Нина поняла уже, — опять рассердился учитель и начал покашливать. Его ладони то сжимались, то разжимались...

— Все, все. Мы закончили. А ты точно простудился, Сергеич. — Валентина хмыкнула и закусила губу. — Хлипкий пошел народишко. Я в войну вон до Покрова босиком бегала — не в чем дак. Так доброй обуинки и не нашивала. Дегтем пятки натру да подошвы, теперь хоть на снег ступай, хоть на стекло — нога не чувствует... — Ее голос стал мирный, подагливый, но учитель молчал, и это ее удивляло. — Садитесь, что ли, подброшу? Я тоже в лагерь — везу продукты...

— А мы на могилу. Я к маме, — вступила в разговор девочка и сразу же засмотрела на них строго, пронзительно. Потом в глазах прошло нетерпение, погасли

глаза. Наверно, надоел уже разговор. Но Валентина не чувствовала, потому опять начала:

— Как ты ее с Сереженькой-то начнешь разлучать? Все время вместе играли, привыкли. В детдом ее, что ли?

— В детдом... — И вдруг он вздрогнул от непонятного звука и повернул голову. Это плакала девочка. Перехватив его взгляд, затихла и заговорила сдавленным голосом:

— Зачем вы при мне?! Я отойду?!

Валентина услышала, спохватилась.

— Ох, Нинка, не отходи ты! Виноватая, обзабылася. То его разобидела, то теперь вот тебя... Ну чё ты, ну чё ты, как разожгло тебя! Я сама об Антонине реву, все сердчишко мое изболело... — Теперь уж сама Валентина заплакала. Плакала навзрыд, не таясь и не закрываясь, и видно было, что забыла про лошадь и про то, куда едет, — и учителю тревожно опять, как перед сильной опасностью. Эта тревога, этот стыд перед девочкой, который вдруг вырвался изнутри и охватил затем голову, — совсем сломили его. Он слышал уже, он чувствовал, что нервы горят огнем, догорают.

— Не понимаю, Сергеич, зачем ты Нинку туда повел? Я — чужа сторона, да и то боюсь даже рядом...

— Она сама попросилась.

— Мало ли что сама...

— Да перестань ты меня учить!.. — почти крикнул он, но в последний момент сдержался. Зато Валентина не унималась:

— Пожалей девку-то, не води туда! Како сердце надо иметь — или каменное сердце.

— Замолчи ты! Пристала пчела... — сказал потихоньку и сразу побледнел, как стена. Сдержаться не смог уже и теперь ругал себя, что не смог. Она все слышала и сразу поникла. Вожжи выкатились из рук. Лошадь фыркнула, остановилась, ноздри вспухли и повлажнели.

— Я — пчела, а ты — хозяйчик, кулак! — она подняла голову и посмотрела в упор. Но он не видел ни глаз ее, ни лица, ни тяжелой обиды в глазах. В нем все уже клокотало. И тогда, чтобы избавиться быстрее от нее, он подобрал с земли палку и замахнулся на лошадь.

— Пошла! Пошла...

Но лошадь словно тоже была заодно с Валентиной — только скалила зубы, не шевелилась.

— Пошла давай!

И опять стоит лошадь, тогда Валентина слезла с телеги, подобрала медленно вожжи и так же медленно села.

— Спасибо, Валерий Сергеич! Спасибо, родной... Вот уж палкой начал замашиваться, а ты ударь, ударь, чё жалешь бабу-дuru...

— А ты напростишь: доберусь вот по-настоящему.

— А-а, не пугай Настасью большой снастью. Сами кого хошь напугам!

— Проезжай!..

— Да не кричи, поостынь! Богатство-то, видно, дерет тебя, распират сильно груди. Да не бойся, не раскулачим... Но-о, поедем, Гнедуха! — Она натянула вожжи, и телега сразу покатила. Лошадь вздернула высоко голову, заржала. То ли сердилась, то ли почуяла волю. Через минуту смолкла телега, и учитель стал

приходить в себя. Успокаивало, что с Валентиной у них так всегда: как сбегутся, так сцепятся. У каждого, видно, свой друг и свой враг. Плохо только, что поругались при девочке... Да что — теперь не исправишь. И это «теперь не исправишь» совсем успокоило и вернуло в строй.

Остыла и девочка. Когда взрослые горячились, она отошла в сторону и старалась не понимать. Но кое-что все равно поняла она — и слова эти принесли боль. Да и вопросы не отпускали. Почему Валентина ругала учителя, почему? Может, надо было за него заступиться?.. И в то же время она давно любила Валентину — и по школе, и так, по разным добрым делам от нее, — потому очень переживала, испугалась, когда учитель побледнел и начал ругаться. Она переживала и за лошадь, на которую замахнулись палкой, а за что замахнулись? Спина ее сразу замерзла — и все эти муки, переживания нахлынули разом и отвлекли. Но вот стихла телега, и девочка оглянулась. Учитель уже спокойно посматривал в небо. Она тоже глаза подняла. Сразу увидела множество облаков, черных и белых. Только чернота эта была понятная и нестрашная. Она несла с собой дождь — влагу на луга, огороды. Дождь был так нужен земле. Он прошел вчера, но его не хватило. И лес, и травы, и птицы теперь тосковали о нем. Тосковала и Нина. Она тоже любила дождь и сейчас с надеждой смотрела вверх. И еще ей хотелось в этих очертаниях-облаках увидеть то родное-родное лицо. Но оно не пришло, и на девочку снова нахлынул непонятный и странный вопрос: «Где ж ты, мама, сейчас? Где ты?»

2

Учитель тоже разглядывал облака, но глаза были пустые, усталые. И все-таки почти успокоился, да и дышалось ровней. И о девочке думал без напряженья, душа почти улеглась. «Все справедливо, все правильно, в детдом ее — больше некуда. Не брать же в свою семью. Вон даже родных детей оставляют, сколько матерей развелось одиночек, а ты, подумаешь, — филантроп...» И пока думал об этом, все смотрел в небо, и небо тоже отвлекало его, успокаивало, и становилось совсем легко. «А что мучаюсь, собственно, переживаю? Неужели не заслужил я спокойную жизнь?.. А ведь тоже нелегко было, не сразу манна с небес. А учился как! На стипендию и одевался, питался — да что говорить... А сейчас зажил как человек, — и сразу увидели. И эта тоже кричит — ковры, гарнитуры. Эх, зависть-матушка. Кто ее выбьет из нас...» Он дышал уж совсем ровно, спокойно, и так же спокойно курил.

Каждое облако намечало свое лицо. И только начинало что-то проступать и угадываться, как все лица мешались и путались, и все опять пропадало. Но все равно наблюдать интересно. Только отдых его длился недолго. Девочка подошла близко-близко к нему, даже рукой затронула:

— А поскорее нельзя? То отстае да отстае, а я легкая на ходу...

«Легкая, легкая...» И опять она, Антонина, стояла в глазах. Да так отчетливо, ясно: слышно каждое слово ее, каждый шорох, движение, будто совсем рядом она, на расстоянии дыхания. Будто продолжает все тот разговор. И смешно, горько и забавно опять, как говорит она, как в глаза смотрит, приглядывается — верят ли ей, не верят, слушают или забыли ее. И он удивлен, сбит с толку, подавлен: откуда эта доверчивость, простота? Будто спешит всю жизнь свою выложить, все мысли, самые тайные, кровные, все надежды свои... А почему, а зачем? Ведь он чужой совсем, незнакомый, а она все спешит и спешит.

— Мужик мой беспокойный был. Хоть связывай его, хоть привязывай, он встал да пошел. А куда пошел? Ясно куда — по друзьям-сотоварищам вино пить да закусывать. А на работу, правда, всегда добрый конь. Опять ленивому-то кто же квартиру даст в городе? Не дадут, нет и нет. Только мой-то не больно сидел в этой квартире, и семья ни при чем. Вот как обидно, Сергеич, чё я — не женщина, чё — кака опояска ему, развязал, бросил под ноги и пошел. А я ведь, я... — Она задохнулась тогда от волнения, но он ждал молча, не перебивал. — Я хоть и маленька, зато уж мила, красивенька, а кожа-то — с лица воду пей, умывайся. А каки были волосы! Ох, помру я, Сергеич! Распадутся по плечам, полетят мои косоньки, а я косо-плетку носила, а ленты голубеньки, под цвет глаз выбирала, под цвет. А ноги-то каки были, Сергеич! Хоть сзади, хоть спереди — таки прямы, стройны ступочки, хоть ступай сама, хоть любуйся. Нет, не похаю себя, не похаю, да и хозяйкой была, ох была я, Сергеич! Все у меня глажено-переглажено, да и муж всегда ходил чистенький, аккуратненький, гладенький, как окунек какой, да избаловался. Чё ему! Сама поважала... К столу сядет, поставлю, а он — того не хочу, другого. Тут недосолено, а тут недоварено, ужмет губы, сидит, похохатывает. Я злюсь, трепыхаюсь вся: кого, мол, придираешься, ужимка? Ты другу таку поищи. И не могу — задохнуться. А чё строить насмешки, ужимать сухи губки, ты на себя погляди да сравни. Вот и встану перед ним така лёгонька да хорошинька, на ногах — чики-брики, босоножки по-вашему, он задышит, одумается. Как минута проскочит, он — кулаком больно по столу: «Пошто, Тонька, не родишь никого?» Ну вот и дойдем с ним до этого, нарежемся досыта, обнимемся, а кто поможет — никто. Не приведи никому, если нету их. И с ними — худо, а без них — хоть в петлю. Ох, худо было, Сергеич. Да мужик всегда оправдаться, вот и школил меня, стучал по столу. Постучит кулаком, пойдет да напьется. И на следующий день — вино. И позаследующий — все вино. Я домой не пускаю, а жалко. Возьму в зубы кулачки да гложу их, покусываю, а у самой уж — слезы, слезы. Вот наша жизнь. А ему чё? Залетела в рот пьяна ягодка. И на работе уж недовольны, грозятся. А ему чё — ничего. Вот уж и деньги выйдут, и друзья прогоняют. Они чё — друзья, пока денежки... Дома тоже чисто, зачищено. Было дело — без хлеба сидели, все спускал мой ужимка. Однажды саму-то зарыл до срока. Только што не отпел со дружками, да выплыло...

Он бы долго еще слушал ее голос, перебирал его в памяти, опускался в самую глубину его, погружался весь без остатка, отрешась от этой дороги, от девочки, — но его потревожили, разбудили. Опять потревожила девочка.

— Пойдемте быстрее! Ползем прямо... — В ее голосе уже звучало требование, и он удивился.

— Ты что кричишь на меня? Я иду, не стою.

— Кто так идет... — сказала нарочно громко, чтобы услышали. Ему стало обидно: «За что она? И так каждый день с ней. Привязалась, липучка». И тут же оборвал себя — зачем сердиться, у нее горе, расстроена, ей не хочется уезжать. Но на словах не сказал ничего. И даже обрадовался, что сдержался.

В лесу было душно. Солнце поднялось уже высоко, и его прямые лучи упирались прямо в голову и жгли нестерпимо. Деревья не защищали. У некоторых берез свернулся, пожелтел лист, как будто дохнула осень холодным инеем и погубила листву. Но это сделали суховеи. Они залетали с дальних южных пустынь, а нынче залетали особенно часто: все лето стояла жара, и этот зной измучил людей, и они уже ни на что не надеялись. Вчерашний дождь принес большую надежду. Эта надежда была на новый дождь, и сейчас учитель опять посмотрел на небо.

Облака были в правой стороне, откуда чаще всего поднимался ветер. Сейчас тоже дул ветерок, но солнце жгло уже по-дневному, и ветерок не освежал, а, наоборот, обжигал щеки, — и он подумал, что в лесу, наверно, все равно лучше, чем в поле. Там — настоящее пекло. Сразу мысли метнулись к сыну. Их класс теперь на последней прополке...

— Мы к маме в последний раз? Или можно...

— В последний! — ответил он твердо и поднял голову. Но все равно та продолжала смотреть на него, глаза напряглись, не мигали. И он опять повторил: — В последний, в последний...

Когда повторил, сразу стало плохо и стыдно, но он не знал, почему плохо с ним, почему очень стыдно, почему не мог взглянуть прямо ей в глаза, не мог заговорить с ней, не мог даже вздохнуть свободно, всей грудью, словно кто-то за ним подглядывал, запрещал. Неужели из-за нее самой, этой Нины, так стыдно, так тяжело? Неужели из-за того, что он повезет ее завтра в город и там навсегда оставит? Но ведь любой на его месте решил бы так же!.. Но если не поэтому, то почему? Почему?.. Ему делалось все хуже, все беспокойнее, потом заныли виски от тупой расслабляющей боли, и скоро боль эта захватила всю голову, и он зажмурился. Учитель знал, что это заныли нервы — в школе разве сохранишь их. Только одно утешало, что все это скоро кончится, что сегодня они идут в последний раз на могилу. «В последний, конечно, в последний», — повторил опять про себя, чтобы в чем-то оправдаться и успокоиться. И вдруг слово это обожгло своим печальным роковым смыслом, и опять та, роковая, печальная, встала в глазах. Но теперь уж совсем не мог он бороться с видением, не мог переключиться на что-то хорошее, успокаивающее, и вот уж полетели секунды, минуты в этом видении, сейчас уже ничего не исправить. Да и как исправить, если знал, понимал уже, что теперь не забыть ее, не забыть и эту упрямую девочку — дочь ее. «Но все не верится, нет, не верится... Где ж теперь она, где?..» Он повторял про себя те вопросы, которые повторяла, несла в себе девочка, но он не знал об этом и не догадывался. Только одно теперь знал он, в одно поверил, признался, что вся спокойная жизнь его кончилась и все хорошие дни прошли, что теперь ему самому надо решить что-то о своей собственной жизни, решить такое же большое, огромное, как все муки его, все сомнения. И чтоб не терзаться еще, не мучиться — он погрузился снова в свое видение. И снова лицо ее, совсем живое, веселое, завладело им, подчинило, да он и сам желал этого, потому и сбылось.

— Ой, не могу, Сергеич, ударь меня по спине, Сергеич, так смешно вышло, прямо грузди в январе выросли. Ты не поверишь в грузди-то, а в мое-то поверь. Ну вот, ужимка пропился до нитки, и все уж ему отказывают, и ты б такому взаимы поморговал. Он у меня и повял. Да совсем несчастным прикинулся, да в профком. Пожалейте, мол, в положенье войдите — жена родна померла, Антонина Ивановна. Хочу в хорошо одеть, а денег нет на хорошо... Ну чё, повздыхали, погоревали, обещали навестить, денег выписать, а пока что четвертну сунули. Добрых людей много. А он взял деньги, не отказался — да ко друзьям. А ко мне пришли из профкома-то. Ну вот. Зашли, потоптались — у вас, говорят, горе большое — покойница. Я гляжу на них — какая покойница? Делать нечего, рассказали, что пришел к ним ужимка, расплакался — хороню, говорит, жену, Антонину Ивановну. Как стояла я, так зашаталась. Потом говорю — я сама Антонина Ивановна. Но жива пока и надеюсь пожить. А сама как зареву, зареву, они тоже побледнели все. А потом — как да как? А вот так, — говорю, — муженек у меня интересный, хо-

тите — продам? Они снова — мы накажем его, накажем. Неуж живых хоронить? Нет, говорю, отступитесь — муж с женой разберутся, а придет ко мне неминуча, все равно схоронит, не убежит. Только через годик мне самой пришлось хоронить. Говорят, что желудок увел его. То ли рак, то ли сплетня на рак? Теперь все одно пишут, а, поди, сроду друго...

— Валерий Сергеевич, можно быстрее? Быстрее!..

Он услышал имя свое и вздрогнул, пришел в себя.

— Что, что?

— Пойдемте быстрее, — попросила девочка. Глаза ее горели колючим, и они уж не просто смотрели, а обвиняли, эти глаза. Она, видно, уже еле сдерживалась, но он не видел ее нетерпения, да и как видеть и замечать ему, если все еще плыл, купался в своем радостном сне. — Прошу вас, быстрее! Мы же в последний раз... Вы обещали...

— В последний... — повторил за ней машинально, и вдруг сознание вернулось к нему. «Почему командует? Зачем такой голос, глаза?..» — Сейчас он хорошо увидел ее глаза, и они оттолкнули и поразили его. «Неужели думает, что у ней есть права? Есть права на меня. Но кто я ей, кто?.. Ну пусть она дружит с моим Сережей, пусть с детства они не разлей вода. Ну и что из того?..» И чем больше так думал, тем сильней обижался на девочку. И хотелось уж быстрее увезти ее в город, чтобы больше не видеть, не замечать. А потом вдруг его осенило другое. И пришло оно незаметно, потому и застало врасплох. Он только посмотрел на девочку сбоку, взгляделся — что-то, мол, другое стало лицо, — и сразу замерло сердце, потом так же внезапно забилося, но боль не прошла. И он всматривался снова и снова в ее светлые воздушные волосы, в ее шейку, желтую от загара, похожую на тонкий желтенький колосок, в ее глаза, в которых так и осталась с рождения прозрачная пленочка, она, видно, хранила, защищала глаза от беды. И все это тоненькое, слюдяное и зыбкое вытягивалось в одну бесконечную и родную ниточку и вызывало страдание, и только одно теперь мучило: неужели он порвет ее, эту робкую ниточку? Неужели от рук его станет гибнуть этот живой колосок? Но почему гибнуть, да почему же? Там, в городе, с ней будет коллектив, воспитатели, они и поймут, и полюбят, и заменят семью... И чтоб хоть немного отвлечься, утешиться, стал разглядывать облака. А мысли были новые, какие-то странные, и они неприятно поразили его. «И куда они вечно спешат? Кто их гонит? Зачем?.. И где конец небу и где начало? Неужели после смерти мы все уходим туда, на это самое небо?.. Смешно — на небо...» Он усмехнулся и опустил голову. Глаза щипало, точно перед слезами. «Но о чем плачу, вот ей бы плакать, а мне-то?» Опять покосился на девочку, и снова ее тонкая шейка потрясла его, и вдруг, как по чьему-то приказанию, какая-то неведомая сила подхватила и понесла его. Она понесла к самому началу, к истоку, где начался этот живой родничок. Он так зримо вспомнил тот вечер, так ясно, отчетливо услышал каждое слово ее, движение, будто дело было вчера еще, будто не прошло этих многих и трудных лет.

Она постучала тогда рано, так рано, что он испугался. Но зашла она смиренненько, потихоньку и сразу устало опустилась на стул. Он совсем испугался усталого лица, ее глаз, робких, просительных — значит, пришла с горем и теперь мнется, выжидает момент. Но она заговорила о легком, о постороннем и как будто разве-селилась и отвлекла его.

— Чё давно не заходишь? А я упражнение новое разучила! Заходи — покажу. И он улыбнулся, от души отлегло.

— Заходи... — повторила.

— Я занят, к урокам готовлюсь, мне некогда.

— Тогда чайком напои.

Он налил ей чаю, наложил мятных пряников. Ей понравился чай, а до пряников не дотронулась.

— Чё, Сергеич, я узнала... Ты дом покупаешь?

— Покупаю, Антонина Ивановна.

— Эх ты, мужик! Так Тоней и не назвал старуху, видно, сильно глубоко я состарилась. Скоро съедешь от меня — только и видела. — Она нехорошо засмеялась и прикусила губу. И вдруг переменялась вся, вспыхнула. И распахнулись глаза во всю ширь. — Я, Сергеич, дочку решила взять. Вчера в город поехала, сразу в больницу пришла. Там у меня есть родня мужова — хирург Раиса Степановна. Она меня жалела всегда, и теперь пожалела — возьми, говорит, девочку или мальчика. У них есть вот такие девочки. Родит женщина, заявление напишет, что не нуждается в своем дитеночке, его и оставляют в больнице. Есть таки у нас матери — оторви им хвост. Потом государство берет на себя и воспитывает. Вот како у нас государство ласково... Чё, Сергеич, одобряешь меня?

— Решайте сами, не знаю.

— А я решила сейчас, нарвелася. Завтра еду! Ты за домом погляди, надавай куричкам да истопи печь покрепче — девочке-то надо будет тепло.

Приехала через два дня из города и привезла с собой дочь. Зашла в дом задумчивая, вся сжатая, как во сне. Только по глазам видно, что это счастливый сон. Человека всегда выдают глаза. С тех пор зажглась в них тихая счастливая свечечка, и огонек этот уж больше не свертывался, не затухал.

А он уже купил домик, небольшой, правда, но первое время жить можно. В тот же год и появилась жена Наташа, и жизнь его тоже походила на радостный сон — все перевернулось и все улеглось, — и новый порядок пришелся по душе. Заходила иногда Антонина Ивановна. Она стала серьезней, степеннее, все разговоры о дочери. Шло время, и дочь Нина росла у нее, поднималась, и вот уж личико разобрать можно — глаза небесные, синие, да и волосы не подвели — густые, пушистые, а возьмешь на руку — они легкие, прямо пепельные, дунет ветер — они падают на лицо, мешают, опутывают, а матери радостно — точно сама родила и выносила это чудо — родную кровь. Да и на работе всегда много радости, не шла на работу, а прямо летела. И все в колхозе уважали ее, приводили в пример. Ей дали орден как знатной телятнице и путевку на юг. От путевки отказалась, потому что на руках была доченька, да и не привыкла ездить по теплым морям. Зато привалила новая радость Антонине Ивановне — ей дали ключи от хорошей квартиры, — живи, мол, да дочку воспитывай, да ни о чем не тужи. Об этом сразу узнала жена Наташа и доложила ему. Она всегда все знала, его Наташа, у кого что куплено, что получено, что еще решают купить. А самой хотелось жить лучше всех. Да и помогали Наташе родители — как-никак одна дочь. Потому в первый же год пришла в их дом новая мебель, да и на сберкнижку отнесли первый взнос. Жена радовалась, сияла, он удивлялся ее желаньям и, кажется, еще больше любил. А потом ей не понравился дом — мол, слишком низенький, и внутри мало места: не войдет лишний стул. Он ей поверил и нанял плотников. Прирубили летнюю комнату и веранду. Жена за всем смотрела, считала, выдавала деньги, рядилась, а он наблюдал издали, выжидал. Зато все вышло дешево и красиво — домик сразу умылся, помолодел, и он стал гордиться женой. А потом прошло года три, — и

задумали про машину. Другие покупают, а чем они хуже, и в этом желанье еще больше сроднились, и он не уставал восхищаться женой.

Одно мучило — не хватало денег, но что деньги — их следует зарабатывать, и они не жалели себя. Да и в школе пошли навстречу — за ним закрепили всю математику в вечерней школе, да и в дневной-то он занимался на полторы ставки — вот и нажили рубль. А наступил месяц август, он пришел в правление колхоза и попросился в бригаду. Его похвалили, пожали руку, написали об этом в районной газете, а через день доверили новый комбайн. Механизаторов не хватает, а он знал технику, механизмы, вот и решили: раз берется — не подведет. И он в первую же осень заработал пятьсот рублей, а на следующий год свой рекорд повторил. А все равно на машину мало, но опять Наташа поклонилась родителям, и скоро пришел большой перевод из Черкасс. Так и заехала к ним в ограду машина, и оба они ходили возле нее как дети, боясь дотронуться до сидений, до мягкой полированной стали, а в глазах опять поднималась гордость — гордость собой. А рядом с ними ходил уже десятилетний Сережа, их сын, наследник. Десять лет прошло — не заметили, да и кто замечает время, если счастлива жизнь.

А через год они возвели флигелек. Лес на дом достали почти бесплатно, да и было его много, с остатком, потому так быстро построили. Отдали флигелек сыну — пусть читает там, занимается, а потом раздумали — это ж деньги! Стали на лето пускать туда квартирантов — город рядом, приезжают на лето дачники, рыболовы, вот и отдали им «Сережин домик». Правда, протестовала Антонина Ивановна. Ведь это ее лес потратил Валерий Сергеевич. Она продала ему свои «родные гнилушки», зачем ей старый домик, если жила теперь в новой квартире, а эти «гнилушки» стояли без крыши, без стекол: без хозяина дом — не дом. Вот и назначила цену, да такую смешную, малую цену, что Валерий Сергеевич удивился. А она замахала руками: «Не набавляй, не надо! Ты мне теперь — за брата. Я умру, поди, скоро — не вечна. Вот и посмотришь за Нинкой, она станет сиротка, а ты поглядишь — и оживет моя Нинка...» Он засмеялся, сказал какую-то шутку, так и закончилось дело. Но вот пустили жильцов в новый домик, и Антонина Ивановна рассердилась: «Ох, Сергеич, чё-то неладно. Все-то деньги все одно не возьмете...» Но что ее слова, если они решили купить вторую корову. Опять же выгода: много приезжих, и все спрашивают молоко да сметану. Одним словом, деньги-то под ногами, только наклонись да возьми. Теперь и жена гордилась умелым мужем.

Только вот с коровой произошла остановка. Хоть и денег скопили, а покупать страшно — все лето зной, ни дождинки, луга остались пустые, только по лесам бы и пособирать травки, но все равно это не выход, — на две головы тяжело. Правда, все располагало вначале. Сергея отправил в трудовой лагерь, жена уехала погостить в Черкассы, один остался — веселое дело. Знай гуляй по лесам да собирай травку. Но помешало это внезапное горе, так помешало! Поди, и тут жара виновата. Суховой хорошо поработал, все дерево высохло, иструхло, как порох. Вот и вспыхнуло, взорвалось... «Нет, не надо об этом думать, не надо!» И учитель сломил себя, отвлек на другое. Но все равно озноб пошел меж лопаток, и это, страшное, роковое, еще долго ворочалось в нем, поднималось. И каждый раз он призывал всю волку, чтобы не знать об этом, не помнить. Даже о девочке думать лучше, спокойней, — и он спросил ее что-то. Она не ответила, может, ушла в себя, промолчала. Потом стал думать о сыне. И как только поднялся в глазах он, высокий, красивый, с длинными ресницами, как у Наташи, так сразу освободилось дыхание. Но ненадолго. Он еще раз обернулся на девочку, еще раз вздохнул

глубоко, — и вдруг пронзило совсем простое, хорошее: а ведь она может стать ему дочерью! Только пожалей, приложи немного старания. Да что старания? Только обогрей душой, приголубь... И как только признался, сказал себе — так нахлынул страх. Он его караулил все последнее время, таился, а теперь выбрал подходящий момент и свалил. Учитель зажмурился. Было стыдно своей нерешительности, невыносимо — и потому еще больше страшно за себя, за семью. А если узнает сын? Как Наташа?.. Они никогда не примут чужую, не поймут его, не простят.. Да и расходы будут — такие деньги! — на девочку-то много надо. Вот-вот и станет большая, и подавай ей платья, наряды, а что скажет собственный сын? И к чему его жалость, к чему?.. И он вдруг представил, что бы сказала Наташа, как бы сдвинула строго брови: «Еще сына на ноги не поставили, а ты уж привел нахлебницу. А у кого спросил?» Он закурил, опять посмотрел на Нину. Она, видно, устала от долгой дороги. Шла совсем обреченно, уныло. Босые ноги утопали в песке, она их с трудом вытаскивала и так же с трудом заносила вперед, а сандалии были в руках. Сзади зашумела машина. Учитель оглянулся, нахмурился. Он сразу узнал эту зеленую «Волгу» — на обочине стоял Копытов, председатель колхоза. Лицо было веселое, молодое. Потом посмотрел на девочку и сразу опустил голову. Но голос все равно бодрый, такая же бодрость во всей тяжелой крепкой фигуре.

— Ты ведь, Сергеевич, лектор? Знаю, все знаю — сам руку поднимал за тебя. А что ж выходит, милый товарищ, в бригаде тебя не видно? Кто народу рассказывать будет... Да ты слушаешь или уснул? — председатель рассердился, посмотрел напряженно. А учитель и вправду его плохо слышал. Ему сразу же надоел Копытов, от него шла привычная монотонность и усыпляла. Хотелось, чтоб председатель уехал, но тот не спешил.

— Ты не слушаешь меня, дорогой. Пустяками не занимаешься? Понимаю. Сено будешь нынче косить?

— Буду. Пособираю по колкам, да колхоз продаст, — учитель посмотрел на него удивленно, ему почудилось что-то недоброе, и он не ошибся.

— Не знаю, продаст ли... А за что продавать? Ты колхозу не помогаешь. Сам себе господин-товарищ. У тебя флигелек-то в ограде свободен?

— Свободен.

— Ну, жди квартирантов. Приедут на уборку студенты. Я к тебе пошлю троих-четверых.

— Флигель у нас занят. Там — сын, кровать. Тесно...

— В тесноте — не в обиде...

— Я не согласен, — заявил учитель решительно, потом добавил: — И жена не пустит!

— Мы и до жены доберемся, а то, ишь, барсуки. Чуть что — в колхоз, а для колхоза сами палец о палец... Вон, смотрите, Антонина Ивановна! Эх ты, лектор мой, лектор. Надо в каждой бригаде, по всему району кричать, как спасала она теляток, на что себя обрекла. А за что? За нас с тобой, за колхоз, Валерий Сергеевич. И дочь береги ее. От всего колхоза — наказ...

И сразу мотор пустил на все обороты. Машина рванулась.

Учитель покачал головой. Обидно, что председатель отказал в сене и заговорил о флигеле, но в слова его плохо верилось. Он и в прошлом году грозил ему, что оставит без корма, а потом продал, да еще помог привезти до ограды. Вот и сейчас петушится, не в настроенье, но пройдет хмарь и отойдет сердце. «Видно, и он не может забыть Антонину Ивановну. И легко же сказать — забыть...» И снова в памяти прорвался ее голосок — не хотел, все удерживал, а не смог. Сначала он

мучил издали, где-то внутри бежал, пробивался, и только потом уж бросился в голову и прорвал все запруды. И опять содвинулись все тяжелые камни, и все, что держалось на тяжелых крепких запорах, снова хлынуло, прорвалось...

— Вот вырастет наш Сереженька, и поженим их обязательно. Даю слово, Сергеич. Буду жива, не помру — сотворю это дело. Не беда, что не ровня по возрасту. Оно и надо, чтоб кто-то постарше. А я теща хороша буду, ох и хороша! Я теща простая да легонька, никого не задену, не ушибу. По утрам как всех выстрою, а чё, Сергеич, на зарядку всех выстрою — шагом арш да пошел! А потом как начнем колесо крутить! Нет, не могу я, Сергеич, вынести, как хорошо будет, смешно. А где смех — там и семья... Ты согласен на такую тещу, Сергеич? А че, поди, не согласен? Я и по дому помощница, я и на работу удаленька. Побегу, дак не остановишь, так и несет меня, тащит по ветру, хоть привязывай на веревочку. А чё привязывать — оторвет все равно. Побегу, только вихорек. А Нина у меня растет умница. Эх, Сергеич, не могу прямо, жалко. Такую девку в дом возьмете, как же я вынесу, да и Наташа твоя изобидит. Ты мужик ничево, а она смотрит лисонькой, ложит в мягку кроватьку, а одеяльце-то у ней тяжеленько. Ты с ней построже, Сергеич, сильно любит деньгу Наташа, молода еще, а купчиха, чё поделать — не осуждаю, боюсь. А за Сереженьку Нину отдам я, не бойся. Не бойся, не обижайся. А про купчиху я наговорила неправильно, кого я понимаю, Сергеич, а вот ты понимаешь... Ты знаешь чё — признаюсь, да не ругайся. Я ведь вроде сама Нину родила. Зимой приснилось, что Нину вынашиваю, в животе тяжело, прорывают мой красный халатишко, а сама уж чую — постукиват, ножкой она постукиват. Оттянет ноженьку и ну давай ей пинать, да сильно так, с оттягом пинат. И так хорошо мне стало, в груди все согрелось, будто птичка я кака-нибудь лётная, снялась, полетела, гляжу вниз на цветочки, на травку — и все лучше мне, горячий. Вот как доченька во мне занялась, угодила. А отчеством ты ее доволен, Сергеич? Я по мужу записала — Степановной. Чё поделать — попивал он, да кто не пьет? Зато память оставил он по себе, а если б трезвый ходил да ласковый, поди, не так бы запомнила. А хочешь, Сергеич, твое отчество дам? И будет у дочери моей твое отчество?

— Теперь уж нельзя, бумаги составлены.

— Сама знаю — нельзя. Просто подумала, чтоб тебя порадовать. Из уваженья, считай, к тебе. А может, попробуем...

— Нет, нет. — Он испугался тогда. Даже теперь испугался воспоминаний. Он всегда боялся любой обязанности. Как легко иметь дело с машинами! Над ними легко командовать и подчинять себе. Например, «Жигули». Хороша машина! Один раз показал на станции — там залезли в мотор, почистили, и гоняй год — ни заботы, ни переживаний. А с людьми — одно мученье, забота. Если что-нибудь сделают, то уж сразу ждут чего-то взамен. Вот его пригрела, пустила на квартиру Антонина Ивановна, а вот чем кончилось. Надо дочку ее пристраивать, надо мучиться и терзать себя. Но при чем здесь Антонина Ивановна? Ее нет сейчас, и она не просит, не лезет. Так на кого же он обижается? — подумал с досадой и закурил. Пальцы подрагивали, он слышал это и еще сильнее злился: «Надо же, так довел себя». Стал смотреть в небо, чтоб успокоиться, но и это не помогло. Небо было хмурое, невеселое, вдали собирался дождь. Нина молчала. «Почему она все время молчит?» — подумал учитель про девочку, и в этом мелькнуло опять раздражение, и он закурил. «Но чем же виновата она? Чем же его обидела, такого большого, взрослого, умного?» — усмехнулся над собой с ехидной иронией, и вдруг опять

стало стыдно. Даже и не стыдно, а просто грустно, неловко. Почему не поговорит с ней? Вот уж целый час на дороге, а он все как чужой, посторонний. «И она чувствует это, наверно, потому и молчит... Не о чем говорить, а все же...» И он повернул к ней голову.

— Устала, Нина? Надо было на машине...

— Не хочу на машине. — И опять замолчала. Хорошо бы вспомнить какое-то доброе слово, приласкать и утешить, но это слово не шло на ум, и он снова на себя злился. И было стыдно.

— Скоро дойдем. Я еще к сыну...

— Я знаю... — И только успела ответить, как впереди зашумела машина. Она вырвалась из-за березы как-то радостно и внезапно, из кузова неслась песня. Напев был стройный, напористый, как у солдат. Пели школьники, они сидели в кузове плотной гурьбой. Среди них он увидел сына. Сергей тоже его увидел и поднял руку. У сына было большое счастливое лицо, и это счастье сразу передалось ему. И вот уж нет машины, умчалась. «Куда поехали? А поют-то, боже мой — голова-а! Мужики уже, мужики...» Потом подкралась тревога. «Такая скорость, еще врежутся в дерево. Куда же они?.. Да о чем это я, зачем все думаю? Наверно, просто на Тобол за водой... — Он улыбнулся. — А ведь сын-то совсем большой, да и ростом скоро догонит. А вот Нина эта, наверно, так и не вырастет. В кого ей? Вон мать у ней маленькая, сухая. Дунет ветер — взлетело перышко. Но ведь мать-то ей неродная. Да о чем я?» И сразу мысли приподнялись упругой змейкой, потом скользнули в другую сторону. Словно бы опасность услышали. Так и было — пришла опасность.

— А теперь к маме. Сережа проехал... — И, не дожидаясь, повернула в другую сторону. За ней машинально пошел учитель. Теперь бы отдохнуть, постоять под березами, покурить. Но Нина двинулась вперед крупным шагом, и он молча повиновался. А девочка что-то решила. Она уже не шла даже, почти бежала. Лицо побледнело и заострилось. «Куда торопится, зачем торопится?» — усмехнулся учитель. И стало грустно. «Будет ли сын потом ко мне так бежать? Если что со мной случится? Но что случится? О чем я думаю? Смешно и нелепо. Вся жизнь еще впереди, вся жизнь. И то, что прожил, хорошо прожил. Все было, и все испытал. И был счастлив...» И он опять усмехнулся и опять посмотрел на себя, как на чужого, и рассердился. «Счастлив, счастлив...», — зашептал про себя с ехидным злорадством. У него бывали такие минуты злорадства. Он знал их в себе, знал и боялся. Так было, когда завел в ограду машину, так было, когда построили флигель для сына, так было, когда заходил в конце года на почту и проверял, сколько набежало процентов на книжку. Всегда в эти минуты горько восклицал про себя и так же горько смеялся: «Все живот набираю, Сергеич! Скоро через ремень перевалит». Так говорила Антонина Ивановна, когда наблюдала их очередную покупку. Потом и сам стал повторять эти слова, потом сделал их поговоркой.

3

Девочка шла быстрым упругим шагом. Он еле поспевал, запыхался. Лес теперь кончился, началась большая поляна. В конце поляны снова были березы. Лист на березах обуглился и свернулся.

Еще издали он услышал запах дыма и тот самый, едва уловимый, запах смерти и запустения, который всегда остается после пожаров. Забилось сердце, и стало

страшно. Девочка выглядела теперь старенькой и серьезной. «Но кто виноват? Жара виновата. Или ребяташки курили, и выпала искра? Может, провода пробило, замкнуло? Наверно, это провода виноваты... так объяснила милиция, прокурор. Но кто же виноват еще, кто же? Неужели только эти жалкие проволоочки замкнулись и сразу взвилось в небо пламя, закрыло небо? Закрыло и саму ее, унесло с собой. А ведь они встретились только за час до той страшной минуты. Если б знать, если б чувствовать!» И снова в голове те минуты...

Он пошел тогда в школу — приехал инспектор. И зачем приехал? Зачем тащился сорок верст из района? Ребята все давно на каникулах, учителя в отпуске, а он решил проверить школьный участок. И всех вызвали в школу. Прибежал и за ним посыльный. С тяжелой душой шагал он по улице — не дают отдохнуть, зачем тогда отпуск. И вдруг догнала сзади Антонина Ивановна, тронула за плечо, засмеялась. Он вздрогнул.

— Не пугайся, идешь потихоньку — и догнала, напугала.

— Ты любого догонишь.

— Так легонька же я, Сергеич, всю дорогу такая... А чё Нина не пришла из похода? Девчонок-то зачем отправляете? А чё случится — учителя в стороне, так оно будет, Сергеич? Получай от меня замечание.

— Куда бежишь? — решил перевести разговор на другое.

— Бегу прямо да забегуся. У меня два теленка в профилактории заболели со вчерашнего вечера. Такой жар — забило все глазоньки, — поди, чё поели, то полизали. Николай, фельдшер, смотрел, да кого он? Сам знашь Николая, ему бы только акты подписывать, нехороший у нас Николай. Ну ладно, обгоню тебя, а то заждались телятки, поди мычат да поглядывают в окошечко, где, мол, та стара дура, где задержалася. — Глаза заблестели ярко и радостно, и в тот же миг она обогнала его, и это ему не понравилось. И он подумал тогда устало и с раздражением: «И что бежит, чему радуется? Старая уж, а все — под молоденьку...» А он-то, мол, почему не смеется, не задирает голову. И все есть у него: и жена, говорят, красивая, и сын есть, и машина в гараже быстроходная, и скота в пригоне полно, и на сберкнижке накоплено. Ну что ему надо, ну что еще?! Почему он не смеется никогда и не радуется, почему жить ему тяжело-тяжело?..

Потом стали заседать в кабинете директора. Пришло их всего пятеро, а он был шестой. Инспектор приехал говорливый, молоденький, все курил маленькую ореховую трубочку и часто выбивал ее о полированный стол. В окнах виднелись березы. Они покачивались из стороны в сторону.

Вначале он слушал инспектора, потом наблюдал за трубочкой, потом совсем забыл, где сидит, — задремал. Но глаза были открытые, они все видели и вбирали в себя. И глаза не удивились почти, когда над березами встал дымок. Он был маленький, чуть заметный, голубенький. И когда Валерий Сергеевич очнулся, голос инспектора звучал бодро, почти торжественно, — и вдруг дымок круто выстрелил, взорвался и превратился в густой настоящий дым. В первый миг это не испугало, не потревожило, только подумалось с удивлением: опять жгут костры ребяташки, зачем допускают в лес. Но дым опять выстрелил — и сразу туча огня. Учителя заматались, забегали, он тоже выскочил за ними на улицу, закричал. И рядом с ним уже все кричали, бежали к лесу. Казалось, ринулось все село. А он уже давно понял — горит ферма, горит. Потом ударило в голову — надо бы обратно теперь, обратно. Да подготовить воду, лопаты — вдруг огонь пойдет в улицу — такая сушь, все сметет... Опять кричали, гудели машины, и вдруг напал страх. Он вспомнил, как она спешила на ферму, как поговорили, как встретились,

как блестяли ее глаза, как пожалела теляток. И родилось предчувствие. Оно было тяжелое, нехорошее, да и люди кричали по-дикому, кто-то рыдал.

Вот и лес, вот и ферма, вот и страшный огонь. И все кружится, вертится, и ничего не понять. И он стоял оглушенный, потерянный, люди что-то кричали, рассказывали, он слышал слова, но не понимал этих слов. Потом понял. Подошел ветеринар Николай и сказал, что сгорела Катайцева. И сказал так просто, обыденно, что до него не дошло. Потом и другие сказали, и он опять не поверил, не захотел.

Огонь шумел, рвался к небу. Огня много потому, что взорвались баллоны. Первый взрыв он увидел еще в учительской. Это был тот дымок, чуть заметный, голубенький.

Не хотелось верить, что там она. А Николай курил, и рассказывал, и вытирал глаза... Она подбежала, когда ферма уже вспыхнула. И Николай подбежал. Она кинулась на него с упреками, почему, мол, не вывел теляток, они больные, им страшно, не вытерпеть. Николай защитил себя: когда, мол, вывести, сам сейчас подбежал. И тогда она — прямо в огонь. Только голос оставила: «Я их вынесу, вынесу!» С теми криками и ушла. И только исчезла в проеме, как стали рваться баллоны. Их было много на кормокухне. От них еще больше огня.

Пламя сильное, да не вечное. Вот огонь стал стихать, гореть-то нечему — все зола. Потом снова ветер поднялся, но теперь уж не страшен он, огонь кончился, одна зола пролетела, один прах. Приехал Копытов на газике, бродил кругом, сам с собой разговаривал: «Что же ты, Тоня, наделала... Жизнь свою отдала... Отдала за теляток!» Но никто не подговорился к нему, и председатель совсем расстроился. Потом подошел к толпе, поднял голову. Голос хриплый, сухой: «Вот, товарищи, дорогие товарищи! Какие люди у нас работают!» И опять не подговорился никто.

Потом появилась милиция. Он удивился тогда, зачем приехали, упали, как с неба коршуны. Лейтенантики были молодые, упрямые. И эта молодость оскорбила всех, все пытали, выспрашивали, но никто не отвечал им, все отворачивались. Но не унывала милиция, да и двое их было. Все записали, общупали и опять бухнулись в свой мотоцикл — и в район. После них и народ стал расходиться. Все говорили — хорошо, мол, что дочка ее в походе, а то бы с ума теперь помешалася. А он, учитель, все спрашивал кого-то невидимого, могучего: «Где же Антонина? Еще недавно шла рядом, смеялась, за плечо трогала — и вот теперь ее нет. Неужто нет? Может, просто куда-то уехала, может, поднял ее ветер, такую легкую? Поднял и снова опустит...»

Вот о чем думал тогда. Об этом же думал сейчас. Лес теперь кончился, еще больше пахло дымом, горелым. «Все еще дым». Стал жадно курить. Вот уж видно пожарище, девочка закрыла лицо.

Сгорело не все, но лучше бы все сгорело — так было тяжело, сиротливо. Кругом зола и несколько бетонных опор. Огонь их только задымил, не потрогал. Девочка пошла вдоль пожарища, он следовал за ней издали. Далеко поднимался гром. Из-за грома не заметил машины. Из машины вышел Копытов.

— Где б ни ежжу, а тянет... — он обратился к учителю, но тот промолчал. Обида не прошла еще. Председатель нахмурился, стал разглядывать девочку. И насмелился: — Нина, иди-ко!

Она подошла. Учитель прислушался к разговору. Копытов стоял бледный, подавленный и почему-то оглядывался.

— Нина, не ходи ты на головешки. Кого тут глядеть... Поди, меня в чем обвиняшь? Ты прости... Я хозяин, не доглядел огонь.

— Вы ни при чем.

— А все равно болит душа, Нинка. Снится мне Тоня, мать твоя дорогая. Толь-

ко ночь — и приходит. Все стоит надо мной, похохатывает, а то за руку тянет. Ты прости за нее, сними грех...

— Вы ни при чем, — девочка усмехнулась и опустила глаза.

— Ладно, пошлю бульдозер, сметем головешки и новую ферму построим.

Девочка промолчала, и Копытов опять нахмурился. Потом отвел учителя в сторону.

— Как с дочкой-то? Давай думай — ты им человек близкий.

— Она в детдом пожелала.

— Сама, что ли?

— Сама... — ответил тихонько учитель и отвернулся.

— Решай, ты — педагог, разберешься... — еще больше поник Копытов. Потом рванул «Волгу» с места. Учитель зажмурился от стыда — вдруг их слышала Нина. Не хотел ведь соврать, не думал, но вопрос был поставлен в упор, — и язык повернулся. И было стыдно, просто невыносимо. Но это вскоре прошло, да и отвлекло другое. За спиной у себя услышал странный звук, и он делался все громче, слышнее. Потом догадался — то плакала Нина. Она даже не закрывалась, не прятала слезы. Она просто не замечала их, и эта безнадежность, покорность опять на него навалились, и в нем снова рванулось к ней сердце, но он быстро справился, заглушил его. Зато потом пришло раздражение. Не ждал он, не ведал. Таким он себя не помнил. Он злился и на себя, и на девочку, и на жену свою, которую где-то внутри побаивался, злился и на председателя за то, что пришлось лгать, изворачиваться. Давила обида и на Антонину Ивановну, которая сама ушла, распрошталась, а дочку оставила — и вот теперь мучайся да устраивай... «Да и стоило из-за телят? Как все глупо, нелепо!» Только так могла Антонина Ивановна... А дочку-то зачем к нему привязала? И вон как получилось! Да что получилось?! «Ничего, в детдоме хорошо будет, везде люди, везде...» И эта мысль его успокоила.

И хлынул дождь. Большая туча опустилась над лесом, и деревья потянулись к ней, выпрямились и стали выше еще, стройнее. Дождь был теплый, парной. Они еле успели стать под березу. Все лето — ни капли, а сейчас с неба — реки. Словно смерть ее была данью кому-то, святым откуплением, и вот дань эту приняли — хлынул дождь. Нина тоже смотрела на дождь благодарно, видно, тоже ждала его, а теперь наблюдала, забылась... Вблизи глаза ее были крупные, синие, таилась в них мысль, и он пытался поймать ее, разгадать. «Все пройдет, все исчезнет. Как этот дождь, облака...» Девочка подняла голову и вдруг решила:

— Не отвозите меня в детдом. Можно у вас остаться? — она снова заплакала.

— Как «у вас»? — не понял Валерий Сергеевич.

— Я бы пожила у вас. Я бы все делала, прибирала. Вам тяжело на два дома...

Он вздрогнул и огляделся. За спиной никого не было, один дождь, как тугая стена. Он не ждал такой откровенности, таких прямых слов. Вдали тяжело заворочался гром, и дождь стал слабеть. Ему даже показалось, что это не гром, а гудит самолет.

— Я на все бы пошла. Хоть чего заставляйте. Только бы возле мамы...

— Но ведь нет уже мамы! Надо в сердце держать...

— Есть, есть она! — заволновалась девочка. Они пошли опять по дороге, сейчас он шел впереди, она — сзади. Он смотрел себе под ноги, а она смотрела вперед. Почти у самого поворота в деревню учитель насмелился. Вначале он остановился и отдышался. Девочка поравнялась с ним. Сердце его тяжело стучало, ему хотелось где-то присесть, отдохнуть.

— Вот что, Нина. Тебе надо обязательно ехать. Там — коллектив, воспитатели. Там будет лучше.

— Сами и поезжайте туда! — она ответила вспльчиво, отвернувшись.

— Ты почему грубишь?

— Не надо меня — так и скажите! Так и скажите! Я знаю, почему отправляете, — опять ожила она, еще громче заплакала.

— Почему?

— Вы думаете, что объем вас. У вас денег не хватит.

— Ладно, достаточно! — рассердился учитель и сразу прибавил шаг. Она осталась далеко позади, и он больше не оглянулся. «В конце концов все справедливо. Не было у нее родителей, подобрали в больнице, сейчас опять вернулась к исходному. Видимо, нужно судьбе. Нужно так, вот и все. Да и мне еще надо пожить. Сорок лет — невелико число. Все еще будет — и горе, и смерти, и потери... — подумал он с грустью, и сразу стало жалко себя. — Да, все еще будет... Зачем лишние гири. Жизнь и так тяжела. И довольно терзаться. Чужой ребенок — всегда чужой...» И эта простая мысль совсем успокоила.

Девочка зашла поздно вечером и сразу с порога:

— Извините, я вам днем нагрубила. Я согласна в детдом...

— Согласна?

— Да, согласна! Не беспокойтесь. Только вещи мамы перенесите потом к тете Вале, завхозу. И ключи ей от нашего дома отдайте...

— Так и мы бы посмотрели за домом.

— Не надо. Я потом к ней в гости приеду. Не сердитесь. Вы и так много сделали... — Она говорила как взрослая, ему опять стало грустно. Ночью почти не спал, вспоминал жизнь свою, вспомнил Антонину Ивановну, и только одного хотелось: чтоб скорей наступило утро, чтоб завести машину — и в город, в детдом.

Утром девочка спокойно выпила чаю, и лицо было доброе, тихое.

— А теперь встали, поехали. — Она улыбнулась даже, но потом что-то вспомнила и нахмурилась. — Вы мне дайте от дома ключи. Я сама их отнесу тете Вале.

Она сбегала быстро, вернулась с маленьким желтым ковриком.

— На память взяла. Мама берегла его. Говорила, что жизнь ее пошла с этого коврика. А со мной машина-то сдвинется?

— Что тебе?

— Ничего. Я говорю, легкая я, не тяжелая. Машине будет легко. — Она посмеивалась, говорила как взрослая.

«...Легкая, легкая», — опять поднялось в голове у него, и он побледнел. На улице светило большое солнце после дождя. Девочка молчала, смотрела вперед. Учитель тоже молчал. Пока ехал по улице, все втягивал в плечи голову, точно бы убегал от кого-то, таился. В степи поднял голову, но на девочку не взглянул. А она уже ничего не видела, устало прикрыла глаза. Да и мотор успокаивал. Он работал мягко, бесшумно, и машина мчалась легко. На поворотах ее слегка заносило в сторону, и она вздрагивала и приседала на новые колеса.